

В. Кривулин

ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ПИСЕМ

Письмо пятое. Аноним. Генуэзская школа.

Сеттеченто. Парный портрет /в стихах/

Ты спрашиваешь, почему письма?

Кому адресовано- не спрашивает, хотя и не отвечает.

Бесконечный разговор в длинной зале,

с шахматным полом и ячеистым- в розетках- потолком.

То ли акустика плохая, то ли со слухом неладно-

но каждый из собеседников-слушает только себя.

Пустая зала.

Два только стула, диагонально в углах.

И сидим, не шевелись, всею спиной прилагаясь к спинкам,
и руки повисли по сторонам.

Несколько напряженное вслушивание.

Пышные люстры зачехлены.

В глубине- незакрытые створки дверей-

видна сутулая спина,

тупей с черным бантом-

лакей уходит, унося поднос с двумя бокалами
и пустой бутылкой.

Но лишь один бокал качнулся из-под локтя-
ярко вспыхнувшая точка.

Ты смотришь на меня,

нет, выше меня,

нет, ниже,

а я

рассматриваю,

внутренне вдаваясь

в путешествие перебродившего винограда

по жилам,

я рассматриваю,
путешествуя,
изощренные пути твоих кружев
вокруг шеи и вокруг запястий.

Электрический треск разрываемого шелка.
Это была желтая обивка стен.

Время протяженно, по мере его ухудшения темнеет,
лакей все еще уходит, унося поднос,
но уже темным пятном
торчит за дверьми,
тускло блестит стеклянная точка,
угасая себя.

Ты
и ты съедена темным углом,
да и я, наверное,
если смотреть от твоей точки.

Осталось шесть лунных овальных пятен—
по три с каждой стороны залы
/по три окна с каждой из двух сторон залы
и в каждом—
одинаково несимметричная луна/.

Шесть— число смерти.

Трешил разрываемый шелк,
со стеклянным стуком осыпается пудра,
мы слушаем извилистое движение древоточца
внутри завитков мебели,
живопись теряет цвет, а рисунок—
очертание.

Остается музыкальный контраст светлых и темных пятен—
от всей изысканной хрупкости нашего сомолчания

остается одна плачевная музика, правильно
 чередующая просветленность с отчаянием,
 остается одна музика—
 вспоминание
 о бесконечно длинной зале,
 звенит хрусталь в зачехленных люстрах,
 отзываются серьги, каяясь в твоих ушах,
 перешептываются камни кулонов, обхватившего твою шею,
 и шуршат, шуршат бумажные цветы,
 окружая изображение Мадонны.
 Шесть— число смерти,
 нас больше нет.
 Издалека плывут навстречу друг другу,
 смешиваются в общий звук
 медно— дрянющийся колокол
 и фабричный гудок.

Письмо шестое. Флоренция. Платоновская академия.

Групповой портрет.

Привязанность к видимым вещам не была в нем настолько сильна, чтобы он осознал себя художником в том полуремесленном смысле, отвергнуть который значило бы порвать не только с цехом, но и с самой природой живописного дела.

И однако, острее, чем переживание цвета, не знал ощущения, и в запахе подсыхающей темперы восставало внутри него извечно женское естество, восстанавливались лицеобразные формы Великой Матери, обращая частицы личного белка, скрепляющего краситель, к изначальному во времени состоянию.

Занятие растирать краски, пользуясь разноцветными минералами-камушками, пока никакая химия не вторглась в чистоту и однородство, пока цвет произрастал природно, просачиваясь сквозь землю.

Полудильтантское, впрочем, занятие, как и его философские упражнения— как ежевоскresная привычка после обедни пересекать площадь с конной статуей посередине

чьей? герцога? кондотьера? не помню,
забыл—

посредине, у подножия всегда две-три старухи, торгующие медными пуговицами с орлами, бумажными цветами и громадными дождевыми бусинами,

в самый полдень пересекать площадь, чувствуя, как медные губы— с ума от жары сошли!— как парадная лошадь жует, придерживая, край его плаща, словно он с места не трогается, только сбоку быстро-быстро семенит его тень-коротышка— ах ты, коротышка!— в самый полдень

Бесконечно медленно пересекать площадь.

Но вот благодатная тень аркады как воздухом пар^{ом} накрыла.
Была ведь только-только исповедь, и оказывается не засох
еще вкус претворенного вина— ожила в прохладе, блаженным хо-
лодком откликнулся изнутри, изо рта

Эхом— в гулком сознании:

Изнутри. Изо рта.

Привычка: откидываясь всем телом и ухватясь за львиную голо-
ву на медном кольце, тащить на себя тяжелорезную дверь, пока
не приоткроется настолько, чтобы стало возможно проскольз-
нуть в глубоко-синюю щель.

Длинная зала, шахматный мрамор пола, деревянные соты потолка,

Его ждут.

Бюст Платона в хищно-красных пятнах: молоко и кровь, мрамор
обвит розами. Пунцовье кляксы раздирают белизну объемов, недо-
шлифованы кристаллы.

Бюст только-только закончен, он пришел последним, слуга за
его спиной грохоча и лязгая закладывает щеколды.

Сегодня "Пир"

Души— Былая свита богов.

Любовь— тернистое воспоминание о пальцах Аполлона.

Это место требовало особого сосредоточения.

Мессир Гвидо читает, мессир Аркананжело осторожно ставит на
стол сферу тонкого стекла, заполненную зеленоватой водой,

заполненную

зеленоватой водой столъ искусно, что кажется цельной, и только прилепившийся к внутренней поверхности пузырек воздуха свидетельствует о невозможности человеческими руками прикоснуться к абсолютному совершенству.

Все шестеро вокруг стола погружаются в сферу, наклоняясь.

Удлиняются их тела, приобретая веретенообразную форму, а головы сливаются в единую плоскую нашлепку темноты вверху стеклянного шара.

Мессир Гвидо читает, мессир Симоне кладет ладонь поверх общей головы и кругообразными движениями покачивает сферу

На толстом его пальце внезапно и режуще всыхивает двенадцатигранный

рубин.

вспомнил: подражая отцу, пробовавшему касанием указательного пальца остроту бритвы, он повторил жест, но с силой надавил на лезвие

сладко погрузилось в кожу, в мясо.

помнил потом: насыщающаяся кровью полоска подставленный медный стакан /таз?/, теплеет, заполненный кровью до половины, доверху— темная лужица на досках стола и светлый круг на месте отнятого днища.

А много позже— чтение Фридриха Ницше и Т.Манна вперемешку— и ни слова об Италии. Друзья эволюционировали от Ницше к православию, одни тайно, другие отчетливо, но всегда сохранивая привязанность юности и невольно зороастрия веру

Христову, а он каким-то боком очутился здесь, среди ново-платоников, в кружке, повторяя шепотом дурную латынь /верно, даже не с греческого перевод, а с арабского/ и не надеясь, что когда-то сможет понимать койнэ первоисточника.

Мессир Гвидо читает, округляя очертания букв- доводя их до романских аркад, до флорентийского полуустава, коверная и без того убогую латынь, мессир Арканажело закрыл глаза, покачивается из стороны в сторону.

Мессир Симоне держит руку на шаре, мессир Джованни громко и потно дышит,

и он мысленно возвращается к лошади на площади- как раз в подобающем месте, где говорится о ~~штейфе~~ душ, текущих вслед колесницам языческих богов, и что каждая душа избирает своего бога, влечится за ним вслед, и теперь, будучи низвергнута в вещь, когда встречает другую душу, бывшую там, с нею рядом- если встречает- то одушевляется, и как бы возникает взаимное магнитическое тяготение, именуемое любовью

И снова: любовь-воспоминание.

Он смотрит поочередно на каждого из сидящих вокруг сферы- узнают ли- но все сосредоточены, и ни один не чувствует силы его взгляда-

взгляда, способного расколоть стеклянный шар с водой.

Шесть молниевидных трещин.

Зеленая вода вперемешку со стеклом брызжет из-под тяжелой руки кавалера Симоне, и вот пальцы окровавлены, бесформенная изрезанная кисть разбухает на столе среди осколков.

Воспоминание о небесной любви предполагает такие

прозрения, когда все вскакивают с мест, и он вспоминает, что всегда мечтал слой за слоем наносить грунт на доску, kleить kleem рыбным паволоку, кружится голова от залаха темперы, но не хватает спокойной ремесленной веры в бессмертие вещи.

И он снова откладывает работу, тяготея к философским штудиям.

Только контуры изображения прочерчены, а цвет так и не коснулся уготованной плоскости.

Письмо седьмое. Гоголь в Риме.Картина русского художника Иванова.

В конце мая вдруг все зябко.

Есть общизвестная мифическая сценка - Гоголь у камни-
на, где горят рукописи.

И общизвестное: не горят.

Греть зябнувшие пальцы - теплом под своей одеждой-
только так и только в таком положении можно без горечи
думать, что общий тон отечественных наших писаний как тра-
диция, идушая елва ли не от гоголевской шинели, - что слиш-
ком уж аскетично все / до Чехова вплоть и дальше/ писано,
слишком серьезно, проблемно что ли... Задобное такое, с
полуушибкой- вопросение, вопросение, вопросение.

Понимать конец лесковской блохи- все ведь как с пох-
мелья бывает: колотун стеклянный /оловянный, деревянный/, и
и пусто, и пить хочется. И зябко.

Гоголя и в Риме не согреться, выйдет из дома- и назад.
Смотрит- окно раскрыто, сквозь виноградные листы обдаст его
липовым, что мороз по коже. Живет-живет, да и кожей Россия
вспомнит.

Я думаю, что писание рукописей- занятие негреющее- ког-
да о Гоголе думаю, если думаю о Гоголе, а это случается ред-
ко. Чаще- об Италии, что она как бы литературная Россия, не
газета, а без кавычек Литературная Россия, то есть если бы
все итальянцы вдруг в России почему-то оказались- все бы

они с женщинами и детьми писателями сделались просто от холода, какой и в конце мая случится может.

Грейтесь, грейтесь бумажным, карандашным, машинописным, типографским, офсетным теплом— грейтесь, говорю!

И помните: есть такая картинка; график Дмитриевский /или Дмитревский/, вологжанин. Гоголь ждет рукописи— скорчился в кресле у камина, а над ним, как нетопыри, нарочито зловещи,— искаженные иконописные линии. И всё на картинке или чёрное или белое.

Я никогда не понимал двуцветности мира, каким он предстает в графике, хотя, на первый взгляд, графика должна быть понятней, литературней, что ли, живописи. А оказывается, оттиск и отмеченнее и беспредметнее слова.

Дмитриевский умер в лагере, где-то на Севере.

Мы, кажется, заговорили о потеплении. Это сезонно, как и любое социальное явление, т.е. то, что социально отъявлено.

Между похолоданием и потеплением остается узкий свободный промежуток, щель— как в дешевом заборе.

Огромный, величественный, унылый, сладостный / /, дымный, извилиний, больной, ущербный и снова величественный, гуманный и пр. и пр. открывается в щели пустынь русской классической словесности с ее послегоголевскими традициями, и такая боль— сладостная!— перечитывать "Петербургские повести", словно итальянец, прожив на Полтавщине года три, приехал в столицу и кашляет, и платок не отводит от носа и рта— а что-то осталось еще в нем, в дыхании его сладостном и смягченном голосе, вдруг переходящем на сплошной горловой хрип.

Чем глубже рождается звук, тем отвратительней он.

Гармонический голос певца-итальянца изведен искусственными упражнениями со дна желудка— и от силы своей и полноты своей

не утрачивает животности происхождения, что, собственно, отвратительно при ближайшем рассмотрении.

Отвратительная сладость итальянской оперы в Петербурге

На картинке Гоголь явлен Вольтером /сходство- в заостренности черт?/, с которого содрана вечно-ироническая гудновская гримаска интеллиектуального превосходства.

Видимо, именно Гоголь есть преобраз современного русского писателя- Гоголь в момент творческой неудачи. Вероятно, так ли важна литературная удача для человека, поставленного в условия чужой языковой среды, откуда Россия представляется идеальной Италией.

В каком-то смысле мы все находимся на положении Гоголя в Риме- все- это не абсолютное множество живущих здесь /часть из "всех" уже там и гоголизуется со всей большей определенностью/, но все- это скорее особое состояние культуры, которая, прежде чем осознать себя культурой, уже определилась сущностью как чумость, и только потом, мучительно уточнившись, остановившись на латинском "культура", что в общепринятом значении подразумевает как раз обратное чумническое общее лицо народа, даже нет, совокупный лик нации со своими институтами, министерствами, главами, парками и др.

И все же состояние души, именуемое "гоголь-в-риме", при всей двусмысленности и муке, много предпочтительней более определенного, но и думерно более ящого- "гоголь-в-иерусалиме".

Так я думаю.